



УДК 9 (470) «18»

«ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БЮРОКРАТЫ» И ДВОРЯНСТВО В РЕФОРМЕ 1861 ГОДА: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОКА

О.В. Кочукова

Саратовский государственный университет,
кафедра истории России
E-mail: KochukovaOV@mail.ru

Статья посвящена проблеме исторического соотношения позиций и интересов самодержавной власти, либеральной бюрократии и дворянства в реформе 1861 г. Предметом анализа является понимание феномена «крестьянолюбия» и антидворянских настроений в политическом мировоззрении реформаторов. В центре внимания автора – воспоминания князя В. П. Мещерского, содержащие критические оценки деятельности либеральных бюрократов и реализации крестьянской реформы 1861 г.

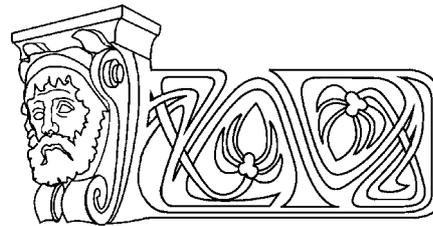
Liberal Bureaucrats and Nobility in the Reform of 1861: View of the Contemporary

O.V. Kochukova

This article is dedicated to the issue of autocratic power, liberal bureaucrats and nobility attitudes and interests, their historical correlation in the reform of 1861. The subject of the analysis is the understanding of "pheasant adoration" phenomenon and anti-noble moods in the political outlook of the reformers. The focus of the author's attention is on prince V.P. Mescherskii's memoirs, containing critical evaluation of liberal bureaucrats activities and implementation of the reform of 1861.

В 1862 г. в Берлине вышла в свет брошюра «Дворянство и освобождение крестьян», автором которой был К. Д. Кавелин. Какое-то время она оставалась почти незамеченной, и заграничный издатель Бэр имел основания считать себя разочарованным в финансовом отношении. Но проницательный ум А. И. Герцена не мог оставить без внимания острой политической злободневности темы. Впоследствии историки чаще всего и вспоминали брошюру Кавелина именно в связи с бурной реакцией Герцена и последовавшим вследствие нее разрывом отношений двух общественных деятелей. Между тем, вынесенная Кавелиным в название своей программной работы тема имела настолько важное для современников реформы 1861 г. значение, что можно лишь сожалеть о том, что открытая и широкая общественная дискуссия тогда не состоялась.

«Печальную картину представляет история русского дворянства за последние полвека, – читаем в статье Кавелина. – Озабоченное одною мыслью удержать за собою крепостное право, оно в царских советах упорно сопротивлялось всяким полезным реформам, прямо или косвенно затрагивавшим крепостной вопрос; под влияни-



ем той же задушевной мысли оно мало-помалу встало во враждебное отношение к литературе, к науке, к университетам и просвещению, во всем стало тормозить развитие народной жизни, где и как и сколько могло»¹. Убеждение в том, что наибольшую опасность в России представляли консервативные дворянские силы, способные противодействовать осуществлению крестьянской реформы – одна из самых ярких составляющих политического мировоззрения не только Кавелина, но и целого круга общественных и государственных деятелей рубежа 1850–1860-х гг. Многие современники обратили на это внимание и были склонны даже к некоторому преувеличению. Так, А. В. Никитенко записал в своем дневнике 13 января 1858 г.: «Кавелин, которого, кстати сказать, нельзя не любить и не уважать, в своих страстных увлечениях, однако, доходит часто до крайностей. Теперь, например, он вопиет против дворянства как против вреднейшего из зол на земле. Как будто бы зло в самом дворянском сословии, а не в особенностях его положения у нас»².

Разумеется, дело было далеко не в личных антипатиях и «социальных фобиях» Кавелина. В данном случае он всего лишь выражал оппозицию «власть – дворянство», которая воспринималась многими современниками как одна из ключевых, причем оценочное (рефлексивное и эмоциональное) отношение к ней могло быть различным. Автор брошюры «Дворянство и освобождение крестьян» уверял читателя в том, что причина горечи и негодования дворянского сословия глубже, чем элементарное недовольство «материальными пожертвованиями»: «Дворянство не может примириться с мыслью, что правительство освободило крестьян, как ему хотелось, а не как хотели дворяне, что дворянство даже не было порядочно выслушано; что правительство не сочло нужным объясниться перед ним, почему освобождает крестьян так, а не иначе, почему отвергло его предложения. Роль первого сословия империи в деле такой важности вышла жалкая и унижительная»³. Для Кавелина было несомненно, что причина такого положения крылась в ряде объективных факторов, связанных с историей взаимоотношений власти и высшего класса в России, но в не меньшей степени он видел ее в субъективной вине крепостнически настроенной массы дворянства. В глазах защитников иной версии конфликта дворянство выглядело стороной пассивной и пострадавшей, но в центре критики оказывалась, естественно, не самодержавная



власть, а группа лиц, действовавших от ее имени, с деятельностью либо взглядами которых была связана крестьянская реформа.

Проблема исторического соотношения позиций власти, реформаторских (государственных и общественных) кругов и дворянства в реформе 1861 г. получила свое отражение в историографии, но все еще остается актуальной. Для русских дореволюционных историков, в основном придерживавшихся либеральных взглядов, было естественным воспринимать реформу не только как объективно неизбежное событие, но и как плод деятельности и борьбы государственных и общественных деятелей, гуманно-прогрессивные идеи которых противостояли социальному эгоизму «крепостнического большинства». В сущности, признавалась концепция, которую Кавелин еще в 1875 г. выразил в словах: «Все великое в России совершалось незаметным меньшинством в ту минуту; когда власть была расположена это сделать»⁴. Многие дореволюционные авторы обращали внимание на приоритет общегосударственных требований в системе воззрений деятелей реформы и искреннюю защиту ими интересов крестьян⁵. В советской историографии изменилось понимание расстановки сил накануне реформ 1860-х гг., главным образом, под воздействием мысли В. И. Ленина о том, что борьба крепостников и либералов не имела первостепенного значения. По его мнению, это была всего лишь борьба «внутри господствующего класса большей частью внутри помещиков, ... исключительно из-за меры и формы уступок при неизбежности собственности и власти помещиков»⁶. В центре внимания историков оказалась другая проблема – соотношение интересов крестьянства и дворянства в реформе 1861 г.

Много нового в изучение подготовки крестьянской реформы 1861 г. внесла Л. Г. Захарова. Исследовательница выдвинула на первый план тему, связанную с выбором пути и моделей реформирования страны, с взаимоотношениями либеральной бюрократии, общественности и самодержавия, с судьбой реформаторов в России. Л. Г. Захарова обратила внимание на формирование еще в конце николаевского царствования особого «содружества» либеральной бюрократии и либеральной общественности. Это содружество сыграло огромную роль в складывании слоя «людей новой формации со своей программой», готовых «при благоприятных условиях взять дело преобразований в свои руки», имевших свою программу реформ и представления о методах их осуществления⁷. В начале 1980-х гг. формулировки Л. Г. Захаровой по понятным причинам имели еще достаточно осторожный характер, но в современных исследованиях «либеральная бюрократия» становится главным действующим лицом «освободительных реформ»⁸. Можно сказать, состоялось историографическое признание статуса «либеральной бюрократии» в эпоху

реформ. Как подчеркивает современный исследователь М. Д. Долбилов: «Реформа 1861 г., в ее качестве волевого акта государственной власти, была прямым порождением дискурса группы людей, которых историки обычно квалифицируют как либеральных бюрократов». Это утверждение повышает актуальность изучения отношения современников к «партии реформаторов» в ее взаимодействии с дворянством и самодержавной властью⁹.

Неожиданный интерес для изучения поставленного вопроса представляют наблюдения и размышления современных исследователей над проблемой империи и национализма в России XIX вв. М. Д. Долбилов, к примеру, обращает внимание на то, что большинство «либеральных бюрократов» в то же время заявили о себе как «горячие националисты». Нужно отметить, что зарубежные и современные российские исследователи истории национализма не ограничивают тематику изысканий собственно «национальным» вопросом, а имеют в виду, прежде всего, противостояние имперского и националистических дискурсов, столкновение различных типов политического мировоззрения и моделей государственного и общественного устройства¹⁰. Вполне возможным становится формирование такого исследовательского поля как проявления национализма в социально-экономической сфере жизни общества, и в том числе, в аграрной политике. М. Д. Долбилов полагает, что существует «символическое измерение аграрной политики», связанное с утверждением определенных образов в общественном сознании, конструированием мифов и т.п. «Возвышенные образы крестьянского освобождения» рассматриваются в интересных исследованиях историка как попытка «бюрократов-националистов» противопоставить традиционным имперским ценностям ценности «романтического национализма»: идею пробуждения народной массы, возрождения нации, воссоздания целостности нации («народного тела») путем сближения сословий, воссоединения народной массы с землей. Феномен «крестьянолюбия» в данном случае объясняется националистическим аспектом мировоззрения реформаторов, а «перспективная инвестиция в лояльность народной массы» создает политическое и идеологическое поле напряжения в изучении взаимоотношений власти и дворянства. Иначе говоря, бюрократов-реформаторов и «деятелей сословно-дворянского направления» по разные стороны баррикад разводили глубинные различия в политическом мировоззрении, социальной самоидентификации, в понимании конкретных экономических проблем и т.п.¹¹

Кружок петербургских либеральных чиновников и общественных деятелей стал приобретать свои очертания в конце 1840-х гг. По воспоминаниям Д. А. Милютин, зимой 1846/47 г. «у брата Николая» (Н. А. Милютин, служившего тогда в городском отделе Министерства внутренних дел)



часто по вечерам собирались их общие близкие приятели: И. П. Арапетов, А. П. Заблоцкий-Десятовский, К. К. Грот, А. К. Гирс и др. К этому кругу постепенно примыкали многие интересные молодые ученые. Среди них были Н. И. Надеждин, с которым Николай Милютин «сошелся по редакции «Журнала Министерства внутренних дел», К. А. Неволин, живший с Надеждиным на одной квартире, В. И. Даль, И. П. Сахаров, П. Г. Редкин, Г. Г. Небольсин, братья Я. и Н. Ханьковы и др. После переезда в 1848 г. из Москвы в Петербург к кружку присоединился К. Д. Кавелин. Разумеется, кружок не имел очертаний какого-либо политического сообщества, «на вечерних сборищах кружка велась обыкновенно занимательная беседа о вопросах науки и искусства, всегда оживленная, часто с примесью шутки и забавных рассказов»¹². Тем не менее мобильность этого сообщества чиновников, ученых, общественных деятелей перешагивала традиционные границы салона, кружка, гостиной 40-х гг. Петербургский кружок плавно переходил в более широкую сеть общественных связей. Его участники могли одновременно служить в одном из департаментов Министерства внутренних дел (данное министерство было важным очагом формирования прогрессивной бюрократии), быть членами Русского географического общества под председательством великого князя Константина Николаевича, входить в Вольное экономическое общество; через участников Географического общества познакомиться с баронессой Э. Ф. Раден и при ее посредничестве приблизиться к двору великой княгини Елены Павловны¹³. Таким образом, либеральное чиновничество находило контакт с придворной средой и членами императорской фамилии. «Партия петербургского прогресса»¹⁴ представляла собой реальную общественную силу.

Естественно, что особенности формирования такой особой «новой формации» чиновников и общественных деятелей предопределяли выбор тактики постепенной и длительной подготовки реформ. Была воспринята «ставка либеральной бюрократии на инициативную роль монархии»¹⁵ и идея о преобладании общегосударственных интересов над сословными. Но присутствие талантливых ученых и активных общественных деятелей формировало устойчивое негативное отношение к той политической системе, в недрах которой приходилось жить и работать. Центром критики николаевского царствования было осознание угнетенного положения общественного мнения, что парализовало созидательную активность образованного общества. Спустя годы, Д. А. Милютин, характеризуя тридцатилетнее царствование Николая I, вспоминал прежде всего ситуацию отсутствия слышимости общественного голоса вне правительственной власти («всякая частная инициатива была подавлена») ¹⁶. В 1848 г. К. Д. Кавелин писал Т. Н. Грановскому: «Страшно, Грановский, делается, когда подумаешь,

сколько сил нашей братья-славян тратится попустому, сколько существований, успевших избежать Сибири и крепости, растрачиваются даром. Натуры благородные, мало имеющие себе равных, приходят к концу деятельности к мучительному вопросу: что же они сделали, что прибавили своим существованием к сокровищнице жизни 60 миллионов полудиках и невежественных людей, но все-таки людей»¹⁷. Иначе говоря, свобода личности и общественного мнения начинала осознаваться в качестве того неперемennого условия, без которого невозможно служение прогрессивного образованного общества народу. Высшей ценностью и целью общественной деятельности полагалось стремление к усовершенствованию материальной и духовных сторон жизни народа. Нетрудно увидеть в этих настроениях отзвуки того самого «романтического национализма», который был естественным в контексте научно-философских поисков идеи нации, «народного духа» и т.п. Не случайно то, что участники петербургского кружка прогрессивных чиновников и ученых инициировали известный «переворот» в Русском географическом обществе, связанный с борьбой «русской партии» против «немецкой» и приведший к изменению направления деятельности общества (переход к изучению быта и национальных особенностей русского народа)¹⁸. Изучение статистических, этнографических, экономических данных о положении различных категорий крестьян имело первостепенное значение для формирования программы отмены крепостного права.

У будущих реформаторов, в конце николаевского царствования, видимо, сформировалось и своеобразное отношение к самодержавию, к абсолютизму в России. В том же письме Кавелина к Грановскому прозвучала мысль: «Я верю в совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России; но он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у нас, – только убивает зародыши самостоятельной национальной жизни. Хорошее, что делается, – происходит помимо его, мало-помалу мы приспособляемся к нему, чтоб бить его его же собственным оружием»¹⁹. Впрочем, нужно иметь в виду, что «партия реформаторов» была весьма сложным сообществом, и ценности бюрократов-реформаторов не могли полностью совпадать с ценностями либеральных мыслителей, в связи с чем и выражение «либеральные бюрократы» имеет условное значение. Во всяком случае, как показала исследовательница либерального национализма на Западе О. Ю. Малинова, национализм и либерализм могли творчески взаимодействовать в XIX столетии, ибо «интересы нации» рассматривались в качестве социально-политического контекста реализации индивидуальных прав²⁰.

Все эти факторы становления «формации реформаторов» объясняли выбор особой модели преобразования России. Модель отмены крепос-



тного права, которую защищали «либеральные бюрократы», была основана на приоритете общегосударственных требований над сословными интересами (прежде всего, дворянства). Ведущим принципом становилось признание инициативной роли монархии (социальная сущность которой трактовалась как надклассовая), вводящей в действие государственно-принудительные механизмы реформы. В наиболее «фундированном» проекте, «Записке об освобождении крестьян» К. Д. Кавелина, самодержавие рассматривалось как «справедливое мерило притязаний всех классов и сословий», а засилье бюрократии, отделяемое от идеала надклассовой монархии, – как временное явление, плод взаимного отчуждения высших и низших сословий²¹. В надклассовой монархии Кавелин видел главное средство противостояния защитникам крепостнической системы и мощное орудие преобразований. Другой важнейший принцип реформы, отраженный в «Записке», Л. Г. Захарова сформулировала следующим образом: «Признание за крестьянским хозяйством самостоятельной роли в сельскохозяйственном производстве наряду с сохранением и развитием крупного помещичьего хозяйства, как цель и итог отмены крепостного права»²². Таким образом, вырисовывались контуры освобождения крестьян с землей. И, хотя предполагалось, что выкупная операция предоставит помещицкому хозяйству свободные капиталы, именно организуемый государством выкуп крестьянских наделов был неприемлем для дворянских «олигархов». Глубинное противостояние бюрократов-реформаторов и защитников корпоративных интересов дворянства находило конкретную почву для борьбы в вопросе о сохранении собственнических прав помещиков и наделении земель крестьян²³.

Этот общественный конфликт был понятен современникам, а его участники создали немало стереотипов восприятия противоположной стороны («дворянских олигархов» либо «бюрократов») в качестве врага. Один из интересных примеров отражения конфликта получил преломление в воспоминаниях князя В. П. Мещерского²⁴. Видение крестьянской реформы 1861 г. и восприятие ее деятелей издателем и редактором «Гражданина», «ультрадворянином и охранителем» в отзывах современников, представляет интерес как позиция крайняя, «рафинированная», вместе с тем, осмысленная предельно четко в категориях противостояния и конфликта враждующих политических сил. Обличение бюрократии, как известно, было излюбленной темой публицистики Мещерского. Видимо, спокойный и беспристрастный анализ этой позиции нужен еще и по той причине, что традиция однозначно негативного восприятия взглядов противников преобразований 1860–1870-х гг., в качестве несомненно реакционных во всех отношениях, закрывает для исследователей отдельные нюансы в понимании «эпохи реформ».

Главы воспоминаний В. П. Мещерского, относящиеся к 1857–1861 гг., в значительной части были способом отражения политических взглядов их автора в момент написания (первые две части мемуаров были изданы в 1897 г.)²⁵. Почти откровенная публицистичность ранних воспоминаний в той части, где они не связаны с моментами личной, семейной жизни, собственной служебной деятельности в 1857–1861 гг., естественно, не уменьшает их значения, так как в данном случае субъективность позиции автора и является предметом исследования. Мещерский пытался придать реалистичность политической составляющей своих ранних воспоминаний ссылками на знакомство в тот период с теми или иными общественными и государственными деятелями, на «включенность» в жизнь высшего света и т.п. В 1857 г. сын подполковника гвардии и, если верить воспоминаниям, образцового патриархального помещика П. И. Мещерского и старшей дочери Н. М. Карамзина Е. Н. Карамзиной, постигший «в атмосфере родителей, как надо любить царя», окончил Училище правоведения и поступил на службу по судебному ведомству в должности стряпчего полицейских дел в Петербурге. Молодой князь Мещерский стал вхож в «умные гостиные» (по его определению) того времени в качестве внука великого историка: «...начавший мои выезды в свет в эту зиму (1857 г.), я выезжал в свет каждый вечер: то на какой-нибудь вечер в белом галстуке, то в какой-нибудь семейный дом на вечернюю беседу за чашкой чая в черном»²⁶. Но вполне очевидно, что перед читателем предстает не картина мировоззрения восемнадцатилетнего юноши, каким был Мещерский в 1857 г., а опрокинутое в прошлое политическое мышление Мещерского 1890-х гг.

Не случайно в одной из «поздних» глав «О введении земских начальников» автор мемуаров проводил прямое противопоставление нового учреждения идейному смыслу и направленности реформ 1860-х гг. (крестьянской и судебной). Авторская позиция скрывалась за цитатой «из письма сельского священника Смоленской губернии»: «Тут что произошло отрадного: вскоре после своего вступления в должность земский начальник оказался для своего участка близким, родным, своим, и это чувство сразу сделало учреждение прочным, обеспечило ему успех... И очень для нас стало сразу приметным различие между бывшим мировым судьей и его заместителем (т.е. земским начальником. – О.К.). Про нашего мирового судью ничего дурного не могу сказать за несколько лет его пребывания у нас в должности, но как только мы увидели земского начальника, *нашего соседнего помещика*, на деле, так сразу поняли, а главное почувствовали, что мировой судья был нам *чужой судебный чиновник*, а на его место к нам явился свой человек живой»²⁷ (курсив мой. – О.К.). Понимание Мещерским сути государственных мероприятий времени



Александра III как восстановление исторической справедливости, попорченной в 1860–1870-х гг., и в немалой степени именно в отношении к дворянскому сословию, придает не только явное ощущение перспективы и ретроспективы реформ и «контрреформ» в тексте воспоминаний, но и своеобразный колорит прочувствованной их автором «исторической победы» над деятелями реформ. Последние для Мещерского как раз и являлись чуждыми политическому и народному быту России чиновниками, навязавшими стране искаженную программу развития.

Следует отметить, что Мещерский не разделял мнений о фатальной предопределенности истории объективными обстоятельствами и законами, полагая, что огромную роль играют случай и воля отдельных лиц. «История делается... психическими моментами», – утверждал он. К ним он относил, видимо, представления, убеждения, стереотипы поведения и «действие силы воли и силы власти» на сознание общества. К примеру, протест против проекта создания института земских начальников он объяснял засильем либеральных стереотипов и принципов, которое, тем не менее, оказалось беспомощным в тот момент, когда была объявлена «воля Государя прямо, ясно и открыто для всех»²⁸.

Точно так же и падение режима Николая I Мещерский не считал объективно неизбежным процессом: «Серьезно говоря, я и доселе ничего не узнал, проживши сорок лет, такого, что меня убедило бы в том, что царствование великого Николая требовало после его кончины какого-то позорного во имя прогресса забвения; напротив, яснее, чем когда-либо, я понял, что все заветы и предания этого царствования надо было для счастья России сберечь, как здоровые и крепкие основы русского государства, и заняться только перереформированием обветшалых учреждений и крестьянским вопросом...»²⁹. Мещерский высоко оценивал попытки решения крестьянского вопроса при Николае I, а «знаменитые инвентари в юго-западном крае» рассматривал как первый шаг к обдуманному освобождению крестьян. Видимо, симпатии Мещерского вызывало уважение к принципу неприкосновенности частной собственности помещиков, которое в действительности было камнем преткновения в николаевских секретных комитетах. Небезынтересно отметить, что в воспоминаниях Мещерского упомянут факт консервативных настроений наследника цесаревича Александра Николаевича, стоявшего во главе «неприятной оппозиции инвентарям». Мещерский вспоминал и сказанную в 1857 г. Д. А. Оболенским фразу о скептических настроениях Александра II в 1856 г. в отношении «эмансипации»³⁰.

«Революционный» характер событий после смерти императора Николая, отсутствие исторической преемственности между двумя царствованиями, с точки зрения Мещерского, были

проявлением захлестнувшей общество «эпохи обличения», которая сама по себе обладала «характером случайности». Воплощением и персонализацией искаженного «болезнью времени» развития событий, «случайности» и «обличения» был для Мещерского А. И. Герцен³¹. Мещерский правильно понимал, что свою силу Герцен брал «не в Лондоне, а в России», «в тех департаментах и учреждениях, которые поставляли ему обличительный материал»³². В них-то и собирались силы «молодых эмансипаторов», ставших объектом пристального внимания и жесткой критики в мемуарах князя Мещерского, для которого была несомненно ясной причина их политического восхождения: «молодые эмансипаторы» выдвинуты на арену истории «придворными центрами оживления», то есть дворами великих князей Константина Николаевича и Елены Павловны.

Князь Мещерский признавал историческое значение «придворных очагов умственной жизни»: во-первых, в качестве «кузницы» «новых людей» («тут впервые заговорили» о Ю. Ф. Самарине, Н. А. Милютине, В. А. Черкасском); во-вторых, в качестве «очага новых веяний» (здесь «разрабатывались материалы для будущих государственных вопросов») ³³. Но уже в зарисовках личностей Константина Николаевича и Елены Павловны сквозило откровенное неприятие. Признавая даровитость великого князя Константина Николаевича и его восприимчивость к «идее блага», Мещерский подчеркивал присущие ему надменность, высокомерие, «потребность сокрушить чью-либо волю». Злой иронией проникнуто описание представления в 1861 г. ко двору великой княгини Елены Павловны: «Прежде всего я ощутил, что передо мною сидела персона, совершенно убежденная в том, что она необыкновенное по уму существо и что она совсем не как другие. Чувствовалось, что она думает об эффекте, который она должна произвести»³⁴. Высокие покровители «молодых эмансипаторов» наделяются в воспоминаниях Мещерского качествами, сознательно противопоставленными христианским добродетелям и народным этическим идеалам, что как бы подчеркивает их культурную и историческую чужеродность.

Интересно отметить, что петербургская «среда эмансипаторов» не получила у Мещерского четкого определения в качестве «либеральной». Напротив, по его мнению, либерализм в предреформенный период зарождался из стремления к удовлетворению «потребности говорить». И потому либеральные настроения он связывал прежде всего с «аристократическими кружками» дворян, пытавшимися «продать свои помещичьи права за политическое влияние». И именно их настроения были враждебно встречены «эмансипаторами». «Самарин, кн. Черкасский, Милютин Н. А., Арапетов и др. – все эти главные вожаки крестьянского дела слишком явно и страстно были одновременно и главными руководителями крес-



стьянского дела и главными врагами дворянства, как сословия, чтобы они могли допустить что бы то ни было вроде попытки дворянства приобрести политическую роль»³⁵. Несмотря на всю значимость для Мещерского противопоставления либерального и консервативного образа мыслей, эти дворянские «аристократы-либералы» не представлялись ему политически опасными, в отличие от антидворянски настроенных бюрократов-реформаторов. (Впрочем, в другой раз Мещерский все же нашел возможным определить «вожаков крестьянского дела» как «либералов-демократов» или «либеральных чиновников» в противоположность «либералам-аристократам»).

Так в воспоминаниях Мещерского появляется историческая загадка, которую он усиленно пытается разгадать. «Это антидворянское направление, как течение тогдашнего времени, слышалось и чувствовалось везде, где говорили громко о крестьянском вопросе и вообще о внутренней политике»³⁶.

«Дворянофобия», как это представлялось Мещерскому, стала даже своего рода опознавательным признаком «эмансипаторов» и их побудительным мотивом к политическому действию. Прежде всего «дворянофобия» была свойственна лично Н. А. Милютину. «Милютин жил в каком-то фиктивном фантастическом мире представлений о каком-то земельном дворянстве, не то аристократическом, не то крепостническом, которое будто бы проникнуто было какою-то фантастическою враждою к тому, что тогда считали миссией Императора Александра II, – писал Мещерский, – и все его мысли к работе над крестьянским делом вдохновлялись этим представлением о призвании бороться с каким-то политическим врагом»³⁷. «Дворянофобия» как явление знакового и масштабного характера, хотя и преувеличивалась Мещерским, но, конечно, не являлась вымыслом. Во всяком случае, среди лиц, близких к Н. А. Милютину, нередко обсуждалось противоборство «партии эмансипаторов» и «камарильи крепостников», защищавших сословные интересы дворянства³⁸.

Первый способ объяснения антидворянской настроенности лиц милютинского круга, предложенный в воспоминаниях Мещерского, – указание на их принадлежность к бюрократической среде, исторически отдалившейся от дворянства. Здесь Мещерский выходил на излюбленную тему своей публицистики – критику бюрократии. «Либерализм» чиновников рассматривался им как одинаковое пренебрежение интересами власти и интересами народа, причем в данном случае под народом разумелись «все решительно виды частных интересов». «Либеральный чиновник» потому, видимо, и не был для Мещерского либералом в собственном смысле, что он не защищал частных интересов определенного социального слоя. Практические цели «либерального чиновника», в представлении Мещерского, сводились к решению вопроса о том, достаточно ли земли

будет отнято у дворянства и достаточно ли для него будет создано критическое и трудное положение»³⁹. Важной характеристикой «либерального чиновника» Мещерский полагал погоню за популярностью. («За похвалу в печати он отступится от каких угодно интересов – не только власти вообще, но и государевых», «... в иных сферах и кружках Герцена боялись более чем правительства», а Я. И. Ростовцевым кроме «опасения прослыть отсталым» вообще больше ничто не руководило⁴⁰).

Здесь уместно отметить, что некие групповые интересы бюрократии действительно влияли на характер ее отношений с верховной властью, и в частности, могла присутствовать ее заинтересованность в создании модели соперничества дворянства и правительства. К примеру, Ю. Ф. Самарин, близкий в рассматриваемый период к «либеральным чиновникам», писал (1860 г.): «... весьма желательно было, чтобы правительство, на котором доселе сосредоточивались все надежды крестьян, ... не допустило дворянство опередить себя...»⁴¹. Н. А. Милютин в «Записке» об освобождении крестьян вел. кн. Елены Павловны в с. Карловка (1856 г.), после описания «брожения в умах» не только среди крестьянства, но и среди дворянства, утверждал: «Если правительство не овладеет вопросом, чтобы повести его, сколь можно осторожнее..., то, быть может, события опередят самые законодательные и административные меры»⁴². Этот же образ дворянства, которое может «опередить» правительство, присутствует уже в 1863 г. в письме В. И. Назимова к В. А. Долгорукову, где есть фраза о «польской дворянской партии», пытавшейся в решении крестьянского вопроса «дерзко стать на место правительства»⁴³.

Но Мещерский не мог обойти тот факт, что «либеральных бюрократов» поддерживали многие общественные деятели и к тому же среди них были лица, известные в то же время как крупные дворяне, понимавшие свои экономические интересы. Таким неразгаданным «сфинксом» для Мещерского оставался Ю. Ф. Самарин. Если верить воспоминаниям, то уже в конце 1850-х гг. из первого знакомства с Самариным Мещерский понял, что видный славянофил «не любит дворянства». Но «почему он его не любил, я ни тогда, ни после не мог узнать, ибо сам он давал своею, так сказать, жизнью всякому право видеть и признавать в нем только дворянина»⁴⁴. Непонимание мотивов участия Самарина в подготовке крестьянской реформы и занятия им четкой позиции по отношению к вопросу о наделении крестьян землей посредством выкупной операции, а наряду с этим признание его крупной политической роли, приводило к своеобразной «демонизации» личности, воли и деятельности «вожака крестьянской реформы». Мещерский пишет о том, что большинство деятелей реформы находились под всецелым обаянием личности Са-



марина, признавали его огромный авторитет, даже боялись его: и в результате именно он оказывался «злым гением» 1861 г., ибо «под этим обаянием... велось крестьянское дело, и велось в духе какого-то партийного недоверия к дворянскому сословию»⁴⁵. Личность Самарина характеризовалась крайне нелицеприятно (что, впрочем, заставляет читателя недоумевать по поводу неоднократно повторенного слова «обаяние»): холодный ум, которому присуща склонность к ненависти почти «онтологического» свойства – «потребность критического ума известные предметы ненавидеть», страстная натура, находившая удовлетворение в ненависти.

Интересно, что Мещерский по сути противопоставлял Самарина всем другим славянофилам, находя, что он своим «умом» смеялся над их «сердцем» и держал «духовными рабами» перед собой⁴⁶. Отказ видеть в Самарине славянофила, видимо, свидетельствовал о желании акцентировать консервативный компонент славянофильского учения и не замечать его либерального содержания. Но, если выйти за пределы логики Мещерского, то именно славянофильство как общественное движение должно вызвать исследовательский интерес в плане понимания идейных влияний на взгляды «либеральных бюрократов». И здесь еще раз приходится вспомнить об определении последних в исследованиях М. Д. Долбилова в качестве «бюрократов-националистов», испытавших влияние идей «романтического национализма». Мысли о необходимости развития нации на основе прежде всего материального и духовного возрождения народной массы и воссоздания целостности «народного тела» путем сближения сословий и наделения крестьян землей не были достоянием исключительно славянофилов. К примеру, К. Д. Кавелин, имевший с Н. А. Милутиным отношения не менее дружественные, нежели Самарин, в статье «Дворянство и освобождение крестьян» пророчил о приближении того времени, когда «весь народ составит одно органическое тело, в котором каждый будет занимать высшую или низшую ступень одной и той же лестницы; высшее сословие будет продолжением и завершением низшего, а низшее – служить питомником, основанием и исходною точкою для высшего», и при этом подавляющее большинство народа станет «причастным благу поземельной собственности»⁴⁷. Собственно, Мещерский всего лишь преувеличенно остро воспринимал степень опасности подобных подходов для сословных интересов дворянства и даже переворачивал «иерархию ценностей» реформаторов, полагая, что «вопрос о том, как было бы лучше крестьянам, – стал второстепенным сравнительно с вопросом, как было бы похуже помещикам»⁴⁸. Но, нужно отметить, что присутствие «националистического момента» в мировоззрении реформаторов не ускользнуло от внимания Мещерского: он писал, в частности, о том, что еще в молодости Сама-

рин «работал умом против остзейского барона как немца и против него же как дворянина», а впоследствии горел ненавистью к «барству» и «польскому элементу»⁴⁹. (Сам Мещерский, хотя и поддерживал русификаторскую политику на окраинах, но понимание им того, что значит «быть русским» «по чувствам и мыслям», а не по этническому происхождению, не выходило за пределы имперско-династического мировоззрения).

Нетрудно заметить, что защита крестьянского хозяйства и план наделения крестьян землей посредством выкупной операции, игравшие столь большую роль в концепциях деятелей крестьянской реформы, в глазах Мещерского были прежде всего орудиями политической борьбы «либеральных бюрократов» против дворянства. Экономический смысл «крестьянолюбия» реформаторов оказывался вне поля зрения мемуариста. Между тем, как давно известно, выкупная операция имела целью предоставить помещикам свободные капиталы, необходимые для экономического процветания, и эти экономические соображения принимались во внимание дворянами с либеральными взглядами. К тому же, защита крестьянского хозяйства в некоторых либеральных проектах имела даже и более глубокие причины, чем простое желание сохранить крупного поставщика хлеба и налогоплательщика. К примеру, К. Д. Кавелин в «Записке об освобождении крестьян» (1855) в качестве важнейшего негативного явления российской экономики отметил неразвитость внутреннего потребительского рынка. Кавелин понимал, что низкая покупательная способность населения (крестьянских масс) тормозит расширение производства внутри страны, а дешевизна рабочей силы делает ненужной для помещиков интенсификацию их хозяйств, основанную на расширении капиталовложений. Значит, чтобы преодолеть этот замкнутый круг, необходимо было найти путь к созданию материальной обеспеченности крестьян⁵⁰. Этот путь мог означать только защиту и поддержку крестьянских хозяйств. Кавелин выступал противником такого варианта перехода к капиталистическому развитию, который повторял бы в социальной сфере период «первоначального накопления капитала», соединенного с полной материальной необеспеченностью трудовых резервов. Автор «Записки об освобождении крестьян» полагал, что процессы капиталистического развития могут быть более успешными при условии материальной обеспеченности крестьян.

Однако в указании на один из факторов, объяснявших «дворянофобию» деятелей крестьянской реформы, князь Мещерский оказался весьма проникательным. «Они как будто опасались, – читаем в воспоминаниях, – что простое политическое убеждение в необходимости реформы могло быть недостаточным стимулом для Государя вести дело энергично до конца; они опасались как будто внутренней реакции в самом Государе во имя дворянских интересов, близость которых



Государю иные предполагали по его прошлому, по его аристократическим, так сказать, вкусам и преданиям, и вот, из опасения этого поворота или чьего-либо влияния в пользу дворянства, они решились отрезать путь к отступлению для Государя, внушив ему какое-то искусственное чувство раздражения против какой-то сопротивляющейся дворянской партии»⁵¹. Деятели крестьянской реформы – «либеральные бюрократы» и общественные лидеры, действительно, не обладали уверенностью в завтрашнем дне и должны были «подстраховывать» реформаторский курс и себя лично особой тактикой отношений с самодержавной властью. Программа реформ, либеральных по своей сути, в практической области означала для борцов за их осуществление поиск диалога с государственной властью и способов склонить ее к преобразованиям. Подобную установку С. С. Секиринский назвал «проповедью у трона», считая ее отличительной чертой целого этапа в истории либерального движения в России⁵². «Проповедь у трона» подразумевала и тактику постоянного и рационально организованного интеллектуального давления на самодержавие со стороны общественного мнения, в этом случае «запугивание образом врага» вполне могло использоваться в качестве политического средства.

Образ бюрократов-реформаторов в воспоминаниях Мещерского можно считать вполне завершенным и достаточно колоритно прорисованным. Возникает вопрос о противостоящем ему образе дворянства и его сословных лидеров. Если в отношении первых Мещерский был достаточно внимательным критиком и пытался аналитически подойти к вопросу о факторах, влиявших на их политические позиции, то в отношении вторых характеристики полностью выходят за рамки рациональных категорий и объяснений, а образы становятся патриархально добродушными. Главной отличительной чертой дворянства накануне реформы 1861 г. Мещерский считал именно добродушие. Собственно дворянство, по его мнению, составляли «наивные и смешные мечтатели политического влияния, добродушные оппозиционеры, добродушные покорные и добродушные передовые»⁵³. Чиновники и власть, по мнению мемуариста, неверно соединяли в воображении сторонников безземельного варианта освобождения крестьян с дворянством вообще, при этом никакой политической сильной «дворянской партии» не было и следов. И, наконец, к образу дворянства оказываются применимы библейские слова: «яко овча на заколение ведется, и яко агнец перед стригущими его бесгласен»⁵⁴.

Образ добродушного и доброжелательного дворянства накануне крестьянской реформы в мемуарах князя Мещерского получился слишком иконографичным, чтобы быть детализированным, но он, конечно, не является исключительным в общественной мысли того времени, а попытка «разгрузить» представления о политической

агрессивности дворян-крепостников даже не лишена некоторой основательности. К примеру, в 1855 г. ссыльный историк Н. И. Костомаров так описывал свои дорожные впечатления во время отпуска для поездки из Саратова в Петербург: «Это было время всеобщих надежд на обновление России... у всех слышалась вера в доброжелательство и ум нового Государя, и уже тогда наперерыв говорили, как о первой необходимости, об освобождении народа из крепостной зависимости. В одном месте на дороге, с нами встретился помещик Нижегородской губернии, который сознавался, что если последует освобождение, то оно нанесет дворянству сильный удар и подорвет его материальные выгоды; но «нечего делать», говорил он, «надобно принести в жертву все для пользы народа; ведь жертвовали же и достоянием и самую жизнь в минуты угрожавшей отечеству опасности, тем более обязаны послужить ему в таком важном деле, которое обновит его на многие поколения»⁵⁵. Как ни приходится признать совпадение образа готового к жертвам дворянина с «агнцем» из «Воспоминаний» Мещерского, нельзя не отметить и другого факта. Уже в 1859 г. в письме к Н. В. Калачову Костомаров делился намного более пессимистичными размышлениями: «Когда мы с вами говорили об этом предмете в Петербурге, я лучше думал о расположении дворян; теперь я не только согласен с вашим мнением о них, но начинаю питать к ним неприязнь; я вижу один эгоизм, эгоизм, прикрытый фальшивым блеском схваченных на лету, не переваренных, даже не пережеванных гуманных идей, а вместе с эгоизмом какой-то макиавеллизм»⁵⁶.

Рассказывая о самой реформе 1861 г., В. П. Мещерский обратил внимание на многие интересные подробности и вновь проявил критические настроения. Так, заслуживает упоминания: мемуарист отметил то, что современным научным языком можно обозначить как отсутствие символической репрезентации властью события 19 февраля 1861 г. Не было присутствия Государя на богослужении в Исаакиевском соборе при чтении Манифеста, не было большого выхода во дворец, вообще не замечалось эмоционального всплеска радости, «общее впечатление было таково, будто искренности не доставало в настроении»⁵⁷. Такая ситуация для Мещерского была исключительно следствием засилья политической воли «эмансипаторов». Мещерский подчеркивал, что реализацию реформы на первых порах сопровождали непродуманность деталей и конкретных механизмов, «безвластие и беспорядок». Главное же, что удручало Мещерского, заслуга освобождения крестьян была «присвоена исключительно и всецело дворянству», хотя, «что могло быть либеральнее, как признать целое сословие, и образованное притом, соучастником в правительственной деятельности и возвысить его общественное значение»⁵⁸. Существенно важной исторической минутой в крестьянской реформе, по мнению Мещерского, была деятельность ми-



ровых посредников, доказавшая, что дворянство способно выделять из своей среды лучших людей «в благородном порыве патриотизма», вопреки мрачным прогнозам и ожиданиям «эмансипаторов». Впрочем, Мещерский вынужден был признать, что «дворянского патриотизма» хватило только на два года⁵⁹.

Воспоминания князя Мещерского представляют несомненный интерес в изучении восприятия современниками движущих сил «великих реформ», и в частности противостояния «либеральной бюрократии» и дворянства, противостояния, быть может, существовавшего в немалой степени в сознании современников. Стереотипы восприятия политического врага очень часто заслоняли сложную картину реального положения вещей. Попытка разрушить мифы, созданные «либеральными бюрократами», в воспоминаниях Мещерского сочеталась с конструированием мифа вокруг образа дворянства.

Примечания

- 1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 138–139.
- 2 Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. II. Л., 1955. С. 7–8.
- 3 Кавелин К. Д. Наш умственный строй... С. 125.
- 4 Кавелин К. Д. Собр. соч.: В 2 т. СПб., 1898. Т. II. С. 883, 885.
- 5 См., напр.: Иванюков И. И. Падение крепостного права в России. СПб., 1903. С. 6; Котляревский Н. А. Канун освобождения 1855–1861. Пг., 1916. С. 37; Корнилов А. А. Основные течения правительственной мысли во времена разработки крестьянской реформы // Освобождение крестьян. Деятели реформы. М., 1918. С. 226; Бороздин А. К. Литературные характеристики XIX век. СПб., 1905 Т. 2, вып. 1 (глава «Кавелин в отношении к крестьянскому вопросу»).
- 6 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 174.
- 7 Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861. М., 1984; Она же. Самодержавие, бюрократия и реформы // Вопросы истории. 1989. № 10.
- 8 Захарова Л. Г. Начало великих реформ // Милютин Д. А. Воспоминания. 1860–1862. М., 1999. С. 6.
- 9 Долбилов М. Д. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // Ab Imperio. 2001. № 1–2.
- 10 См., напр.: Каттелер А. Россия – многонациональная империя. М., 2002. (Введение); Уортман Р. Национализм, народность и российское государство // Неприкосновенный запас. 2001. № 3 (17); Суни Р. Империя как она есть: имперская Россия, «национальное» самосознание и теории империи // Ab Imperio. 2001. № 1–2; Миллер А. И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении. (Вторая половина XIX в.). СПб., 2000. (Введение); Горизонтов Л. Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия // Пространство власти: Сб. статей. М., 2001 и др.
- 11 См.: Долбилов М. Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в 1850–1860-х гг. // Вопросы истории. 2000. № 6. С. 35–46.
- 12 Милютин Д. А. Воспоминания. 1843–1856. М., 2000. С. 136–137.
- 13 См.: Розенталь В. Н. Петербургский кружок Кавелина в кон. 40-х и нач. 50-х гг. XIX в. // Учен. зап. Рязан. гос. пед. ин-та. 1957. Т. 16. С. 195–197.
- 14 Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне // Былое. 1922. № 18. С. 7.
- 15 Захарова Л. Г. Самодержавие, бюрократия и реформы... С. 21.
- 16 Милютин Д. А. Воспоминания. 1843–1856. С. 423–424.
- 17 Письма Кавелина к Т. Н. Грановскому // Литературное наследство. М., 1959. Т. 67. С. 598.
- 18 См.: Милютин Д. А. Воспоминания. 1843–1856. С. 139–145; Семенов – Тянь-Шанский П. П. Мемуары: В 4 т. Пг., 1915. Т. 3. С. 15–17; о столкновении «имперского» и «националистического» понимания этнографии см.: Knight N. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855 // Imperial Russia: New Histories for the Empire. Bloomington, Indiana, 1998. P. 132.
- 19 Письма К. Д. Кавелина к Т. Н. Грановскому... С. 596.
- 20 Машинова О. Ю. Либеральный национализм (середина XIX – начало XX вв.). М., 2000. С. 114.
- 21 Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. II. С. 68–69.
- 22 Захарова Л. Г. Самодержавие, бюрократия и реформы... С. 35.
- 23 См.: Долбилов М. Д. Сословная программа дворянских «олигархов»... С. 37.
- 24 О биографии и общественно-политических взглядах и деятельности В. П. Мещерского см.: Дронов И. Е. Князь В. П. Мещерский // Вопросы истории. 2001. № 10; Черникова Н. В. Князь В. П. Мещерский (К портрету русского консерватора) // Отечественная история. 2001. № 4.
- 25 Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1897. Ч. 1–2. Далее ссылки на издание: Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001.
- 26 Мещерский В. П. Воспоминания... С. 55.
- 27 Там же. С. 649.
- 28 Там же. С. 647–648.
- 29 Там же. С. 39.
- 30 Там же. С. 25–26, 38.
- 31 Там же. С. 39.
- 32 Там же. С. 40.
- 33 Там же. С. 53–54.
- 34 Там же. С. 73, 110.
- 35 Там же. С. 71–72.
- 36 Там же. С. 72.
- 37 Там же. С. 74.
- 38 См., напр., дневниковые записи К. Д. Кавелина за 1857 г.: Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 2. С. 1160–1166.
- 39 Мещерский В. П. Воспоминания... С. 83, 439–440.
- 40 Там же. С. 40, 440.
- 41 Самарин Ю. Ф. Соч.: В 12 т. М., 1911. Т. 4. С. 371.
- 42 Цит. по: Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. М., 1984. С. 60.



- ⁴³ См.: Долбилов М. Д. Культурная идиома возрождения России... С. 259.
⁴⁴ Мецгерский В. П. Воспоминания... С. 55.
⁴⁵ Там же. С. 55.
⁴⁶ Там же. С. 378–379.
⁴⁷ Кавелин К. Д. Наш умственный строй... С. 143, 144.
⁴⁸ Мецгерский В. П. Воспоминания... С. 379.
⁴⁹ Там же. С. 378.
⁵⁰ См.: Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. II. С. 17.
⁵¹ Мецгерский В. П. Воспоминания... С. 77.
⁵² Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в Рос-

сии: Очерки истории (середина XIX – начало XX века). М., 1995. С. 92.

- ⁵³ Мецгерский В. П. Воспоминания... С. 75.
⁵⁴ Там же. С. 80.
⁵⁵ Костомаров Н. И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина. Киев, 1992. С. 160.
⁵⁶ Цит по: Чалая Т. П. Н. И. Костомаров (1817–1885): общественно-политические взгляды и деятельность: Дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2006. С. 146.
⁵⁷ Мецгерский В. П. Воспоминания... С. 82–83.
⁵⁸ Там же. С. 82.
⁵⁹ Там же. С. 84.

УДК [9:323.28] (470–89) «1871/1887» (075.8)

ЖЕНЩИНЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В РОССИИ XIX ВЕКА

Н.А. Троицкий

Саратовский государственный университет,
кафедра истории России
E-mail: istfak@sgu.ru

Статья представляет собой обобщающее исследование (на основе опубликованных и разысканных в архивах новых данных) участия российских женщин в политических процессах XIX в. Рассматриваются причины растущей революционной активности женщин в их поведении перед царским судом, статистка, итоги и значение их выступлений на судебных процессах.

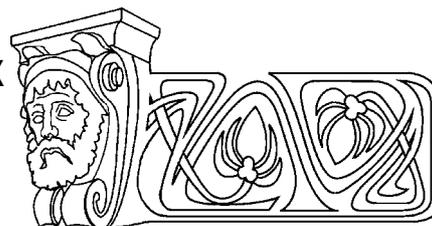
The Women on the Political Trials in Russia of the 19th Century

N.A. Troitskiy

The article is written on the basis of the published and archived information. In the article, participating of the Russian women is examined in the political trials of the nineteenth age. Reasons of revolutionary activity of women are probed. The conduct of women is studied on a court, statistics, appearances on trials.

С 1 июля 1817 г. по 11 сентября 1871 г. в Петербургской судебной палате шел процесс по делу *нечаевцев* (т.е. участников революционно-народнической организации «Народная расправа», которую создал С.Г. Нечаев). На нем впервые в истории России предстали перед судом по политическому делу женщины – сразу восемь¹. До тех пор на политических процессах никогда не судилась ни одна женщина. Да и не только в России, в целой Европе после Великой французской революции XVIII в. процесс *нечаевцев* был первым политическим процессом с участием женщин. Это обстоятельство отметил в речи на процессе адвокат Е.И. Утин².

Зато в дальнейшем, до конца века, на каждом более или менее крупном процессе женщины оказывались среди обвиняемых постоянно и на равных делили с мужчинами самые жестокие приговоры, вплоть до вечно-каторжных и смертных.



Всего на 55-ти политических процессах с 1871 по 1894 г. суду были преданы 158 женщин³: из них 15 судились по два раза, двое (С.А. Иванова и Э.Л. Улановская) – по три и одна (С.Е. Новаковская) – четыре раза. Вели они себя перед царским судом не менее, а то и даже более героически, чем их сопроцессники – мужчины.

Уже на первом из тех процессов юная 20-летняя Александра Дементьева (невеста и будущая жена одного из идеологов народничества П.Н. Ткачева) «крамольно» выступила по «женскому вопросу», указав на несправие женщин как фактор, непрестанно вооружающий их против правительства. «Даже те немногие отрасли знаний, которые предоставлены женщинам (учительствовать, быть stenografistkami, отчасти врачами. – Н. Т.), обставлены такими преградами, – говорила Дементьева, – что весьма немногие имеют возможность пользоваться ими <...> Самую простую, ближайшую меру, которая могла бы дать женщинам возможность заниматься полезным трудом, было бы позволение им приобретать более обширное образование и обучаться в гимназиях и институтах различным практическим занятиям»⁴.

Речь Дементьевой на процессе *нечаевцев* вошла в историю русского освободительного движения. В 1886 г. газета «Общее дело» заслуженно помянула ее как «первое свободное и мужественное слово, публично обращенное русской женщиной к ее политическим судьям»⁵. Перепечатанная почти всеми русскими газетами эта речь, наряду с выступлениями П.Н. Ткачева, Ф.В. Волховского, П.Г. Успенского и других подсудимых, сильно пошатнула тот взгляд на *нечаевцев* (как на головорезов, для которых нет ничего святого), что вдалбливали в сознание общества власти и рептильная пресса.